

Александр Степанович Грин

Дача Большого озера



Александр Степанович Грин

Дача Большого озера

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8055887

Аннотация

«Всю дорогу от вокзала до Бурунчей Оссовский находился в состоянии крайнего угнетения. Знакомые когда-то места, покинутые несколько лет тому назад и теперь снова развертывавшие перед ним свой грустный пейзаж, сильно изменились за это время, застроились, раскинули к реке и лесу новые улицы, еще полные щеп и кирпичей от наскоро возведенных построек. Здесь, так же как и в его постаревшей, истрепанной душе, хозяйничало время, тщательно разрушая мелкие, милые подробности прошлого – старые домики, нелепо выкрашенные заборы, покосившийся фонарь – все, что сразу охватывает человека трепетом забытых волнений, нежностью к прошедшему и безнадежным, мучительным желанием помолодеть на несколько лет...»

Содержание

I	4
II	14
III	20

Александр Грин

Дача Большого озера

I

Всю дорогу от вокзала до Бурунчей Оссовский находился в состоянии крайнего угнетения. Знакомые когда-то места, покинутые несколько лет тому назад и теперь снова развертывавшие перед ним свой грустный пейзаж, сильно изменились за это время, застроились, раскинули к реке и лесу новые улицы, еще полные щеп и кирпичей от наскоро возведенных построек. Здесь, так же как и в его постаревшей, истрепанной душе, хозяйничало время, тщательно разрушая мелкие, милые подробности прошлого – старые домики, нелепо выкрашенные заборы, покосившийся фонарь – все, что сразу охватывает человека трепетом забытых волнений, нежностью к прошедшему и безнадежным, мучительным желанием помолодеть на несколько лет.

Оссовский смотрел по сторонам, медленно разбираясь в воспоминаниях. Вот улица, где находился пустырь, огороженный деревянным забором; теперь в самом центре ее стоял двухэтажный кирпичный дом с вывеской: «Почтово-телеграфное отделение», а к нему с обеих сторон примыкали кокетливые, окруженные зеленью дачи. Мелькнула гостини-

ца, где ночевал он, приезжая на свидания к невесте, ставшей впоследствии его женой и умершей два года назад. Зеленые косогоры, переулки, чудом сохранившие прежнюю физиономию, казалось, всматривались в усталое лицо приехавшего, силясь узнать в нем кого-то прежнего, моложе и пободрее.

Летние сумерки дышали неостывшим теплом земли, влажностью растительных испарений и острым после дождя запахом гнилых досок. Ежедневное, еще светлое небо молча прислушивалось к вечерним, затихающим отзвукам. Из окон блестел свет, смутные голоса людей вырывались на улицу, сердитые и веселые, быстрые и ленивые. Где-то, захлебываясь плачем, кричал ребенок. Плавно шумели деревья, окутанные сумерками, вдали зычно и раскатисто прогудел паровоз.

Экипаж выехал к озеру, скрытому разноцветным узором дач, и Оссовский остановил извозчика у большого, затейливого особняка. Пожилой дворник, дремавший на лавочке, снял шапку и флегматически уставился на чемодан Оссовского.

Приезжий спросил:

– Барыня дома?

– Дома-с, – не сразу ответил дворник, тупо разглядывая господина, стоявшего перед ним. – А вы кто будете?

– Возьми чемодан, голубчик, и проводи меня, вот тебе мелочь.

Разглядыванье прекратилось. Дворник пошел назад, таща

в одной руке чемодан, в другой крепко сжимая семь гривен, полученные от барина. Дверь отперла горничная, молодая и шустрая, в щеголеватом ситцевом платке.

– Вот моя карточка, – сказал Оссовский. – И скажите, что от Михаила Степановича. Поставь чемодан тут.

Горничная ушла, вертя в руках карточку; потоптавшись, удалился и дворник. Переднюю освещала лампа, луч света тянулся от нее за полуоткрытую дверь гостиной, выделяя из полутьмы угол кресла, стоявшего у окна. Оссовский разделся, прошел в гостиную и сел к столу, рассеянно потирая руки.

Дорога сильно утомила его, а две бессонные ночи совсем расшатали нервы, и без того достаточно издерганные за последнее время. Согнувшись и опустив голову, Оссовский равнодушно ждал появления хозяйки, заранее решив не пускаться в длинные разговоры, а ограничиться необходимыми любезностями и, выбрав удобную минуту, получить разрешение удалиться к себе в комнату, которую, без сомнения, ему отведут здесь; раздеться, лечь, вытянуться и замереть в сладкой истоме – это все, что нужно ему сейчас. В последние годы, изувеченный страданием, он слишком, слишком часто призывал безмолвие ночи и сон-забвение.

Так просидел он несколько минут, наслаждаясь, тишиной сумерек, пока легкий шум не заставил его вздрогнуть и подняться навстречу тоненькой женщине, остановившейся на пороге гостиной. Помолчав, она подошла ближе, но и те-

перь было трудно рассмотреть ее лицо, смутно белевшее в полутьме. Оссовский поклонился, пожал маленькую руку, протянутую ему, и услышал:

– Елизавета Сергеевна Инзар... Только я вас совсем не вижу; горничная, по обыкновению, не догадалась зажечь огня.

– Ну что же, – шутливо сказал Оссовский, – может быть, при полном-то освещении я и потеряю в ваших глазах.

– Нет, не потеряете, – возразила молодая женщина. – Я знаю вас... слегка... по рассказам мужа... Скажу, чтобы зажгли лампу.

Она позвонила и села у стола против гостя.

Оссовский чувствовал ее пристальный, направленный на него взгляд, и пока вошедшая горничная зажигала высокую бронзовую лампу, он успел отметить маленькое, но приятное разочарование. Жена его друга детства была красивее и симпатичнее, чем он ожидал, представляя ее себе по некоторым соображениям совершенно неинтересной женщиной. В соображениях этих, правда, сказывалась только привычная наблюдательность человека, прошедшего в путешествиях две трети жизни.

Елизавета Сергеевна была среднего роста блондинка, с мягкими чертами лица и рассеянным, застенчивым выражением глаз, постоянно и как будто нечаянно переходивших с предмета на предмет. Маленький детский рот, беспечный и розовый, не уменьшал, а, наоборот, подчеркивал общую сосредоточенность ее лица, и казалось, что при улыбке ни-

когда не засмеются глаза этой женщины. Густые, плотно собранные волосы касались изгиба шеи. Одета она была в серое шерстяное платье, очень простое, без отделки и кружев.

А перед ней сидел сильно загорелый человек, с проседью в совершенно черных, коротко остриженных волосах, с тяжелым и неподвижным взглядом. Дорожную сумку он забыл снять, и ее желтый ремень тускло блестел на сукне синей австрийской куртки.

Когда горничная удалилась, Оссовский стряхнул утомление и начал рассказывать. Говорил он тихо, часто останавливаясь и задумываясь.

— ...а проживу я здесь недолго, недели две... Еще месяц назад в Константинополе, услышав подлинный московский язык, я подумал: а в самом деле? Но воспоминания были еще довольно свежи, и, если бы не расстройство заводских дел, я, пожалуй, еще не скоро бы приехал в Россию. Скрепя сердце собрался и, кажется, рад теперь. Почему? Со смертью Наташи, казалось, для меня все умерло... Но как плохо знаешь себя в подобных случаях... Я, буржуа, превратившийся в бродягу, оказывается, бессознательно страдал, разъезжая везде, куда только можно попасть, имея деньги в кармане и желание рассеяться до пресыщения. Там я как-то еще сильнее чувствовал свое одиночество.

Он сморщился и умолк, смотря в сторону, слегка раздраженный тем, что рассказывает о своих душевных переживаниях чужому и, вероятно, счастливому человеку.

– Значит, вы много ездили?

– Я? Много, очень много.

– Были... в Америке?

– Был и в Америке, – улыбнулся Оссовский. – А это вам кажется самой страшной далью?

– О нет, – смутилась хозяйка, – но я... нигде не была и... А почему я спросила про Америку... вероятно, потому, что это уже серьезное путешествие, не то что Швейцария или Ницца. А в Египте?

– И в Египте и в Индии был, даже кусочек Тибета видел, – задумчиво сказал Оссовский. – Все это страшно интересно... было бы... в другое время.

Последние слова он прибавил кстати, потому что фраза: «Какой вы счастливый!» – чуть-чуть не сорвалась с губ молодой женщины. Она вздохнула, испытывая смутную тяжесть от сознания чужого, но понятного ей горя, и произнесла:

– Извините, если я, может быть, нечаянно причинила вам боль своими расспросами.

– Ничего подобного, – добродушно сказал Оссовский. – Ведь я же сам рассказал.

– Все-таки. А скажите – что Миша? Скоро кончится его работа в комиссии? Вы ведь говорили сегодня с ним... С тех пор как он сделался инженером, мы значительно реже бываем вместе... я его, например, вот уже четвертый день жду... да... так он вам ничего не говорил?

– Нет, – протянул Оссовский, пристально смотря в глаза

Елизаветы Сергеевны. – Много он работает?

– Даже чересчур много. А когда приезжает сюда, он такой бледный, измученный – смотреть больно.

Оссовский медлил, припоминая подробности сегодняшней встречи с приятелем. Предчувствие необходимой лжи раздражало его, заставляя быть осторожным, чтобы не попасть впросак. Конечно, инженер работает, иначе он не мог бы так бешено тратить деньги, как тратил их сегодня в его присутствии. Вся эта обстановка затянувшегося кутежа и прозрачные намеки на необходимость ехать куда-то, в какое-то место, добиваясь какого-то давно обещанного блаженства, – кое-что уяснили Оссовскому в словах молодой женщины, и он, почти уж зная, как держаться дальше, сказал:

– Нет, нет. Как я вам уже говорил, я не думал ехать сюда один, а намеревался подождать Михаила. Но гостиница как-то слишком совала мне в глаза мое скитальческое положение... потом этот вечный грохот мостовых... захотелось тишины, семейной обстановки, так что я, недолго думая, махнул сюда, не повидавшись с ним больше.

Он не лгал. Действительно, потеряв надежду на скорое вытрезвление инженера, Оссовский бросил только что снятый дорогой номер и уехал из города с глубоким убеждением, что легкомысленное времяпрепровождение Михаила не составляло тайны для его жены. Впрочем, Михаил, очевидно, конфузился сам себя, когда говорил Оссовскому:

– Друг! Валер! Разве она рассердится? Приду, поцелую руку, потуплюсь, вздохну и скажу: «Лизочка! Прости меня!» И все кончено. Все кончено, дорогой мой!

– Во всяком случае, – продолжал Оссовский, с неприятным для себя чувством уловив легкую тень в глазах хозяйки, – я вынес такое впечатление... что ему осталось немного... совсем немного.

– Я буду рада этому, – сказала Елизавета Сергеевна, и легкий румянец выступил на ее щеках. – Пойдемте-ка, я вас угощу чаем. Сумка вам не мешает?

– Пожалуй, – улыбнулся Оссовский, – но я стал страшно рассеян, благодарю вас.

Он снял сумку и машинально положил ее на кресло, с которого встал. Потом прошел за хозяйкой в ярко освещенную столовую, чувствуя себя спокойно и просто с этой наивной, милой женщиной, чем-то напоминавшей его недавно умершую жену. Кажется, их сближал в его представлении голос, певучий и выразительный.

Чай, обильная закуска и графин с коньяком придали разговору большое оживление. Оссовский рассказал несколько дорожных приключений, смеясь сам, если они были смешны, и с трогательным уважением к простоте нравов обрисовал жизнь некоторых племен Северной Америки. Елизавета Сергеевна задумчиво слушала, иногда переспрашивая и увлекаясь, если дело касалось рискованного положения или интересного эпизода.

Часы медленно и громко пробили одиннадцать.

– Извиняюсь, – сказал Оссовский, – но если бы вы знали, как я устал за последние дни...

– Я понимаю, – кивнула Елизавета Сергеевна, – вам спать хочется... как жаль все-таки, что Миша запоздал. Я думала, что он успеет приехать, пока мы сидим здесь, и поговорить с нами.

– Как? – удивился Оссовский. – Вы думаете?..

– Конечно... Он придет сегодня непременно. Странно, что он вам не сказал этого.

– Сегодня? – повторил Оссовский, невольно делая ударение на этом слове.

Настойчивая уверенность, звучавшая в голосе хозяйки, заставила бы усомниться его, но он, к сожалению, слишком хорошо знал положение дела. Молчать было приличнее, чем поддерживать разговор на эту тему, продолжая добровольно взятый на себя обман. Оссовский молчал.

– Вам-то я скажу, в чем дело... – запнулась Елизавета Сергеевна. – Он... он знает, что сегодня... восемнадцатое июля.

– Восемнадцатое июля? – переспросил Оссовский. – Разве он знал, что я приеду восемнадцатого июля?

– Нет, – продолжала, смеясь, молодая женщина, – это... как бы вам сказать... видите ли... это наше маленькое торжество... годовщина... понимаете? Нет?.. В этот день мы стали близкими... Вот... Ну как же он не придет?..

– Ну, конечно, – пробормотал Оссовский, усиленно сме-

ясь, – в самом деле... да, это хорошо... Как жаль все-таки... я так устал, знаете, так устал... Усну как мертвый.

Радость, блеснувшая в глазах Елизаветы Сергеевны при мысли, что ее милый, может быть, уже подъезжает к вокзалу, наполнила сердце одинокого человека легкой завистью и неясным укором. Чувствуя, что начинает расстраиваться, он встал и раскланялся, охваченный глубокой жалостью к маленькому существу, стоявшему перед ним.

Еще несколько слов – звонок, и явилась горничная указать Оссовскому его комнату.

II

Приезжий остался вполне доволен осмотром своего нового помещения. Два больших окна выходили в сад; махровый шиповник, разросшийся под ними, наполнил комнату смешанным запахом росы и цветов, невидимых в темноте. Шторы были опущены, огонь лампы бросал желтые отблески на густую траву, озаряя низы стволов и песок дорожек. Большая кровать с пружинным матрацем нежила глаз Оссовского чистотой белья и соблазнительно откинутым одеялом.

Он разделся, потушил огонь и вытянулся во весь рост, чувствуя, как необходимый сон охватывает сладко занывшее тело. Папироса медленно потухла в его руке, он бросил ее, повернулся на бок и уснул.

Прошло не более часа, как вдруг нервный толчок, встряхнувший все его члены, разбудил его. Оссовский открыл глаза и тоскливо зевнул – сон уходил, возвращая неприятную ясность мысли и легкость тела, как будто уже наступило утро и он совершенно выспался. Сердце билось глухо и беспокойно, то замирая, то вздрагивая частыми, сильными ударами. Надвигалась бессонница, и одна мысль об этом могла уже уничтожить уверенность в возвращении сна.

Оссовский глубоко вздохнул полной грудью, стараясь вызвать зевоту и сонливость, но это не удавалось. Кровь прилиwała к голове, стучала в ушах, невольно развлекая мысли

своим беспокойным шумом, нагретая подушка раздражала лицо. Глаза не слипались, и удержать их закрытыми теперь было так же трудно, как днем. Подкрадывался беспричинный страх, бессильный и тоскливый. Настойчивое тиканье карманных часов сердило и угнетало, эти монотонные, равнодушные звуки отмечали время, потерянное для сна. Отрывочные, хаотичные мысли скользили и таяли, как снежинки; вспыхивали отдельные сцены, слова, виденные когда-то пейзажи, их неуправляемый поток рождал бессвязные размышления и тоску.

Оссовский приподнялся на локте, осматриваясь. Глубокая тишина звенела в ушах, мебель чуть намечалась в темноте расплывчатыми таинственными контурами, за окном шептал сад, дыша сыростью и прохладой. Беззвучно двигалась ночь, и казалось, что ее невидимый трепет проникает в глубину души, заставляя прислушиваться к молчанию.

– Я, кажется, не усну, – сказал Оссовский. – Но сколько же я спал?

Он зажег спичку и посмотрел на часы; целая ночь предстояла впереди. Спичка потухла, угасший свет ее разбежался в глазах Оссовского мгновенными искорками.

Он снова лег, стиснув зубы, с твердой уверенностью уснуть во что бы то ни стало, и пролежал совершенно неподвижно минут десять, переходя от надежды к сомнению, от уверенности к отчаянию.

И вдруг маленький чумазый оборванец, вынырнувший

внезапно из залитого солнцем переулка, наполнил Оссовского тихой радостью, смешанной с опасением, что близость сна исчезает.

Стараясь не думать, он зорко следил за мальчуганом, виденным им, без сомнения, в каком-нибудь южном городе. Мальчик с угрозами, обливаясь потом, тащил на веревке собаку, животное прыгало, стараясь вырваться, упиралось, поджимая хвост, но мучитель не уступал. Его босые, грязные пятки сверкали на солнце, бронзовое личико свирепо морщилось; оба выбивались из сил?

Длинные гоночные лодки; на берегу цветник шляп... Гребцы в полосатых тельниках сгибаются и разгибаются, взмахивая веслами, глухо шумит вода.

...Столик с лекарствами. Синие, желтые и белые пузырьки... Тяжелый больничный запах. Знакомая головка, с плотно закрытым ртом, одеяло свесилось на пол, маленькая, похудевшая рука, которую он столько раз целовал, бессильно вытянулась, прозрачная и жалкая...

Оссовский вздрогнул, проснулся и тяжело задышал, прикладывая руку к сердцу. Перебой продолжался; настоящая отвратительная бессонница, тоскливая и неизбежная, царила у кровати, пугая душу наплывом томительных, одиноких дум.

– Разве капель выпить? – сказал Оссовский, вытирая вспотевший лоб. – Все-таки шанс, а им не надо пренебрегать.

Он надеялся, впрочем, не столько на действие лекарства,

сколько на самовнушение. Поднявшись с кровати, Оссовский зажег лампу, с удовольствием замечая, что свет благотворно отзывается на его взбудораженных нервах. Осмотревшись, он вспомнил, что дорожная сумка, в которой находилось лекарство, оставлена им не здесь, но где – припомнить не мог, и это привело его в раздражение, отнимая последнюю надежду уснуть. Идти отыскивать самому было неловко и к тому же не привело бы ни к каким результатам. Оссовский подошел к окну и задумался. Им овладело странное оцепенение; не двигаясь, смотрел он в темную гущу деревьев, отдавшись воспоминаниям, все более и более соблазняемый мыслью одеться и посидеть в саду, лицом к лицу с ночью, пока утомленный мозг не откажется бодрствовать и не позовет усталое тело в тихую страну сна.

Оссовский торопливо оделся, задул лампу и остановился в нерешительности; идти через выходную дверь ему не хотелось – будить прислугу, а шум мог разбудить хозяйку. Недолго думая, он занес ногу на подоконник в сад и, стараясь не трещать сучьями, выбрался из кустов к маленькой деревянной беседке, приютившейся среди акаций и клумб.

Песок аллеи хрустел под его ногами, он шел медленно, вдыхая густой, влажный воздух ночи. Изредка мокрые листья задевали лицо, но это прикосновение было безотчетно приятно, освежая разгоряченную кожу. Воображение рисовало Оссовскому бесконечную пустыню из трав и дорожек, покрытую тьмой, в которой он двигался, отдаваясь гру-

сти воспоминаний, милых и трогательных, согретых теплом любви, унесенной смертью, но жившей, как дорогой памятник, в его беспокойной, тоскующей душе.

Он обогнул сад, намереваясь присесть где-нибудь, но, выйдя к террасе, замедлил шаги и остановился. Ему послышался легкий, неясный шум.

Оссовский всмотрелся. Казалось, там никого не было, мрак окутывал дачу, сонная тишина царила кругом. Терраса смутно белела перед ним складками парусины; он пошел снова крупными, ясно раздающимися шагами, и вдруг тихий, напряженный вопрос, упавший в глубокое молчание, приковал его к месту:

– Это ты, милый?..

Оссовский вздрогнул, пораженный силой тоски и ожидания, звучавшей в голосе женщины. Он замер, не двигаясь, смутно уверенный, что темнота скрывает его. Вопрос, казалось, еще звенел в воздухе, ища и не находя ответа. Оссовский постоял с минуту и затем тихо, на цыпочках, подкрался к опущенной парусине террасы; казалось ему, что его взгляд проникает в ее складки, к неподвижно сидящей женщине, к ее широко открытым, напряженным глазам... Прошла еще минута, другая, и Оссовский скорее почувствовал, чем увидел, что там кто-то тихо плачет.

Он удалился так же осторожно, как подошел, взволнованный и смущенный, охваченный состраданием и размышлением. Собственная его жизнь ярко вспыхнула перед ним;

слова, подслушанные невольно, звучали в ушах, как обращенные к нему, эти трепетные слова, которым радовался и он когда-то давно...

Оссовский пробрался к окну своей комнаты и несколько мгновений смотрел в темноту, соображая и взвешивая мысль, невольно пришедшую в голову, потом слабо, но решительно улыбнулся, зная, что все равно не уснет. К тому же эта женщина, что сидит там... И жить здесь было бы достаточно тяжело.

Он встряхнул головой, как бы утверждаясь этим жестом в своем решении, поднялся на подоконник, отыскал, не зажигая огня, часы, сунул их в карман, удостоверился, что бумажник при нем, затем снова выпрыгнул в сад, притворил окно и, медленно подвигаясь вдоль изгороди, нащупал калитку. Задвижка бесшумно уступила его осторожному усилию, он запер калитку и вышел на улицу.

III

Ярко освещенный пустой вокзал ожидал поезда. Оссовский заглянул в расписание и прошел на платформу с довольным лицом: ждать оставалось всего четыре минуты. Ему везло, если можно назвать счастьем обстоятельства, помогающие не спать.

Перед станцией в полутьме двигалось несколько пассажиров; они то садились, то снова принимались ходить, таская с собой пакеты, узлы, картонки. Чемодан, забытый Оссовским, вспоминался ему; он решил, что пошлет за ним после, перед отъездом.

Справа катилось медленное, едва слышное содрогание рельс; в тихой черноте воздуха горели, увеличиваясь, две красные точки. Протяжный, уныло смолкший гудок встрепенул публику, пассажиры выстроились на краю перрона, снова отходя в сторону, по мере того как вырастал паровоз, шумно пыхтя и громыхая скрепами рельс, дрожавших под огнем его фонарей движущимся красноватым отблеском. Оссовский взглянул налево – какой-то шикарно одетый господин, рисуясь, стоял на самом краю перрона, но когда паровоз подошел ближе, нервно попятился, оглядываясь и застегивая пальто. Оссовский усмехнулся, машинально шагнул вперед... Поезд резкодохнул ему в лицо стремительным движением воздуха, облако горячего пара хлы-

нуло в глаза, мелькнули отполированные массивные поршни, грязное лицо машиниста, окна вагонов, движущихся все медленнее и медленнее. Поезд затрясся, удержанный тормозами, и стал.

Оссовский вскочил на площадку вагона и перевел дух. Острый холод испуга еще теснился в груди, руки слегка дрожали. «Еще успею...» – подумал он, улыбаясь собственному мальчишеству. Ему вспомнились рассказы про африканского охотника, знаменитого Беккера, приучавшегося не сходить с рельс, пока расстояние между поездом и им не уменьшалось до четырех шагов. После этой практики Беккер стал охотиться на слонов. «Чепуха, – сказал Оссовский, – страх непреодолим даже при твердой уверенности умереть».

Опять коротенькое слово «успех» вернуло его мысли в темную область прошлого. Он не сопротивлялся, усилия были бы слишком мучительны. Снова оцепенение завладело им; грустная покорность, с которой он отдавался тоске, нежила его болезненной лаской воспоминания... Хлопали двери, стучали колеса, дребезжали стекла; свечи в фонарях мигали и вздрагивали. Против Оссовского, в уголку вагона, свернувшись калачиком и похрапывая, спал молодой финн. Оссовский посмотрел на него с завистью; румяные щеки обеспечивали юноше богатырский сон до самого города.

Приехав, Оссовский немедленно разыскал клуб.

Его провели в отдельный, стильно убранный кабинет,

и это неожиданное появление вызвало целую бурю восклицаний, рукопожатий, громкого смеха. Инженер заключил его в объятия; две молодые, слишком нарядные женщины выжидающе смотрели на них, тихо разговаривая между собой. Мелькали выхоленные усы, возбужденные лица, блестящие глаза. Здесь было весело.

– Почему поздно? Почему поздно? – приставал Михаил. – В первый же день надуть, а? Друг мой, святая душа на костылях, а? Ну, как же тебе не стыдно? Пристыдите его, господа... у-у ты!

Инженер был сильно навеселе. Его красивое бледное лицо вспотело и зарумянилось, темные глаза шурились, вспыхивая беглым, бесконечным огнем, галстук и волосы растрепались. Оссовский сдержанно улыбался, смущаясь, как всегда, в компании незнакомых людей.

Михаил продолжал упрекать его, и Оссовский сказал:

– Не ругайся, а представь себе, что, завалившись спать у себя в номере, я проснулся только к двенадцати. Надо было умыться, выпить кофе... Я бы не пришел даже, если бы не дело...

– Дело?! – сказал инженер. – Врешь ведь! Ну, дело ли, безделье ли – все равно!

– Ты послушай, – сказал Оссовский, понижая голос и стараясь придать своему лицу загадочное игривое выражение, – я тебе скажу вот что...

Он сладко улыбнулся и закончил, краснея:

– Не можешь ли ты написать письмо... под мою диктовку?

Инженер щелкнул языком и сделал большие глаза.

– Как это? – переспросил он. – Письмо? Зачем письмо?

– Ну да, простое письмо. Будь другом, сделай это сейчас.

Выйдем в свободную комнату и... Хорошо?

– Я, конечно, согласен, – протянул Михаил, рассматривая Оссовского, – но ты...

– Все объясню, пойдем.

Инженер повернулся к столу и сказал дурашливым голосом:

– Мужчины и дамы!.. Друг моего детства, миллионер и заводчик, покровитель наук и искусства, Валерьян Филиппович Оссовский требует мою душу для нескольких минут уединенного покаяния!.. Простите великодушно!

– Прощены! – гаркнул осанистый брюнет, разглаживая бакенбарды. – Идите и не грешите!..

– А я приревную вас к мсье Оссовскому, – сказала высокая женщина с молодым лицом и усталыми большими глазами.

– К счастью, – улыбнулся Оссовский, – вы не успеете. Мы скоро.

Он вышел с инженером в пустой, ярко освещенный коридор. Михаил заглянул в бильярдную – там никого не было. Над ровной зеленой поверхностью стола мягко горели висячие электрические розетки.

– Можно здесь, – сказал инженер, присаживаясь к мра-

морному мозаичному столику.

– А чернила?

– Вот тебе карандаш и листок из записной книжки. Пиши. Да... я обещал рассказать... Ну, это что же... Лицо, к которому ты будешь писать, – женщина.

– Валер! – простонал восхищенный Михаил. – Так ты... ты разрешил себе?

– Что делать? – мягко улыбнулся Оссовский. – Я живой человек...

– Верно! Но как ты...

– Имей кроху терпения... Есть причины, видишь ли, вследствие которых я не желаю, чтобы у нее... были доказательства. Понял? Больше я ничего тебе не скажу... пока.

– Все равно я уже заинтересован... Говори же – что и как?

– Прежде всего, – сказал Оссовский, подумав и потирая сморщенный лоб, – напиши следующее: «Дорогая, милая... бесконечно любимая деточка».

– Очень хорошо! – одобрил инженер, бегая карандашом по бумаге. – Я как будто вижу ее: маленькая, плутовское создание, а в глазах – тысяча бесенят... Я напишу тебе тысячу любовных посланий, Валер... Дальше!

– Дальше: «Прости меня, дурака...»

Инженер рассмеялся и бойко написал: «дурака».

Дойдя до этого места, Оссовский задумался, озабоченно рассматривая фигуру приятеля, склонившуюся над столом, и решил, что, если убрать слово «сегодня», – догадаться бу-

дет весьма трудно. Поэтому он сказал просто:

– «Я так и не приехал...»

«Не при-е-хал...» – вывел Михаил и замурлыкал опереточный вальс.

– А почему ты не приехал, а?

Оссовский продолжал равнодушным, отчетливым голосом:

– «...а как мне хотелось быть с тобой... заглянуть в твои ясные глазки...»

– Я написал «глазенки»... – ничего, Валер?

– Ничего, – добродушно отозвался Оссовский. – Далее... «посадить тебя на колени»...

– «Ко... ле... ни». Так. Еще что?

– «...Ведь сегодня наш праздник... и я-то знаю... как твое маленькое сердечко дожидалось этого дня».

Здесь Оссовский значительно рисковал и скрепя сердце приготовился уже к какому-нибудь вопросу. Но голова инженера бесхитростно и доверчиво встретила эти слова, предназначенные неизвестной женщине. Оссовский перевел дух и стал диктовать дальше:

– «...Не сердись, дорогая... скоро приеду, а ты увидишь, как я тебя люблю...»

– Ты вдохновенно врешь! – не удержался Михаил, поднимая глаза. – Но... хорошо выходит. Написано.

– «...Я расскажу тебе маленькую сказку, и ты крепко-крепко уснешь...»

– Спокойной ночи. Затем?

– «...Жил-был козлик...»

– Коз-лик?! – расходился инженер. – Вот не подозревал в тебе таких талантов!.. Ну, что же козлик?

– «...Серенький козлик... да».

– «Да» – неизбежно?

– Разумеется. Продолжай: «...вроде того, которого волки съели...»

– «Съели...» Такие обжоры!

– «Только этот был умный...»

– Сомневаюсь, но все равно. Есть.

– «...Вот он пошел гулять...»

– И получил насморк, Валер?

– Экий ты насмешник, Миша! Осталось совсем немно- го... Пиши: «А на лугу танцует маленькая козочка... белень- кая, мохнатенькая...»

– Танцует! – вздохнул инженер, стараясь не улыбаться. – Значит – балет?

– Да. Ну... «Козлик и говорит: – Я вас люблю...»

– Энергично!

– «А козочка говорит: – Очень приятно!..»

– Действительно! – рассмеялся Михаил. – Все?

– Нет еще... «Так они стали жить-поживать да добра на- живать...»

– Или, – сказал Михаил, – как это говорится... да: вам сказка, мне бубликов вязка.

– Последняя фраза, Миша: «Крепко тебя целую и обнимаю, крошка моя. Спи...» Написал?

– Да.

– Ну, спасибо, голубчик.

Оссовский взял бумагу из рук приятеля и внимательно перечитал написанное. Размашистый почерк инженера заполнил весь листок.

– Маккиавелли, – сказал инженер, смеясь и лукаво подмигивая, – не способен обмануть женщину!

– Надеюсь по крайней мере, – вздохнул Оссовский. – Все мы на этот счет способны.

– Ну, однако... У тебя вон какой талант... Импровизация, вдохновение чувствуется...

– Лыстец, – скромно отозвался Оссовский. – Ну, еще раз спасибо тебе.

– Пустяки! – Михаил встал, покачиваясь, и обнял Оссовского за плечи. – Ну, идем же. Эта тишина давит меня. Хочу шумов, криков и плесков... Идем!

– Послушай, – сказал Оссовский, ласково отстраняя его хмельную горячую голову, стремившуюся упасть на плечо друга, – я не пойду туда... серьезно. Я устал! Но выслушай...

– Ты всю жизнь был серьезным человеком, – пробормотал инженер, – так не изменяй же себе! Я с-слу-шаю!

Оссовский задумался, смотря в сторону. Потом, видимо затрудняясь, начал:

– Я сделал глупость, Михаил, и вот какую... Ты, пожа-

луйста, только не обижайся... Я думал отдохнуть здесь, у тебя, почувствовать себя не одиноким... Но сегодня... когда я остался один в гостинице, прошлое с новой силой разбередило мою душу, я почувствовал как нельзя больнее, что никогда и ничем не вытравлю ни дней радости, ни дней тоски... Потом... потом сравнил тебя и себя... Ты моложе, счастливее, любим и любишь... Может быть, это низко и недостойно меня, не знаю, но подумай – жить вместе, под одной кровлей... видеть вас обоих – живое, мучительное воспоминание... Нет, нет! Я поздно сообразил это, но, сообразив, успокоился: я уезжаю завтра.

– Валер! – прослезился расстроенный Михаил. – Ты бредишь... ты нездоров... Я все понимаю... Хорошо... но ведь это же свинство с твоей стороны, а? Показать и упорхнуть... а? Валер?

– Приходи утром, мы простимся как следует. Да, я переменил номер и... кажется, забыл какой... спроси у швейцара.

– Ну, хорошо, – пробормотал ошарашенный инженер, – у швейцара... но... вот тебе и история! Давай же хоть поцелуемся, а?

Он повис на шее Оссовского и начал его душить. Валерьян не сопротивлялся, но облегченно вздохнул, когда объятия кончились.

– Иди же, иди, Миша, – сказал он расстроенному, охмелевшему человеку, – там ждут, неловко.

– Доставьте немедленно.

– Теперь два часа, ваше-ство, – сказал комиссионер. – По-ездов нет.

– А вы возьмите извозчика и пообещайте ему на чай. Вот вам двадцать.

Посыльный согнулся так низко, что можно было опасаться за целость его спины. Оссовский надел пальто, шляпу и вышел из подъезда.

Еще не светало, но в мягкой прозрачности воздуха чувствовалась тонкая свежесть недалекого утра. Пустынные улицы тянулись к темному небу крышами многоэтажных домов; кое-где дремали одинокие извозчики. Шаги Оссовского мерно звучали в тишине, гулко раздавались под арками ворот. Сонные фонари горели на перекрестках, расстилая по мостовой бледный, удрученный свет. Оссовский дышал полной грудью, рассеянно подвигаясь вперед, подавленный напряженным молчанием огромного города...

Он взял извозчика и поехал в ту же гостиницу, откуда выехал сегодня, рассчитывая пожить в тишине укромного, загородного местечка под одной крышей с приятелем. Дорогой он вспомнил Елизавету Сергеевну, письмо и грустно улыбнулся при мысли о радости, с какой будут перечитаны эти строки. Дача смутно рисовалась его воображению, он мысленно проникал в спальню, где, может быть, теперь уже спит тоненькая, наплакавшаяся женщина. Звонок разбудит ее, она получит письмо и прочтет... конечно, не один

раз. Снова заснуть ей будет легче.

Оссовский дремотно улыбнулся, чувствуя приближение настоящего, давно желанного сна, и казалось ему, что он слышит тихий, растроганный, полусонный шепот засыпающей женщины:

– ...А на лугу танцует маленькая козочка... беленькая...